

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ

Императрица запретила эту книгу.

Москва переписывала её от руки.

ИНЕССА НИКОЛАЕВНА ЗАХАРОВА

18+

Инесса Захарова

Чёрная грязь

<https://litres.ru/74674652>

SelfPub; 2026

Аннотация

1790 год. Москва. Императрица Екатерина II объявила книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» бунтовщической. Автор ждёт казни в Петропавловской крепости — а книга не умирает: её переписывают от руки, прячут под половицами, читают шёпотом.

Пелагея Белоусова, дочь лавочника с Никольской, по ночам списывает запрещённые главы. У неё тайный дар: коснувшись чужого листа, она чувствует правду того, кто его писал, — и платит за это собственными пальцами. Лев Щетинин, эксперт Тайной экспедиции, восемь лет вскрывавший чужие письма, приезжает в Москву найти дерзкий почерк. Он находит её. И впервые не может донести.

Шесть тетрадей. Донос своего приказчика. Обыск, этап по Владимирке, смерть на тракте. Она хранит списки — он хранит её имя, и цена у обоих хранений одна.

Исторический роман о том, чего стоит слово, когда за него сажают, — и чего стоит любовь, когда любить друг друга должны охотник и добыча.

Содержание

ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ	4
Примечание о датах	5
Часть первая. Никольская улица	6
Глава 1. Список	6
Глава 2. Вести	20
Глава 3. Обыск	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Инесса Захарова
Черная грязь
ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ

Исторический роман

Примечание о датах

Все даты в романе даны по старому стилю — по юлианскому календарю, действовавшему в России до 1918 года. В XVIII веке разница между старым и новым стилем составляла одиннадцать дней: там, где в романе стоит 30 июня, за границей уже было 11 июля. Автор сознательно не переводит даты: герои жили по этому календарю, считали по нему сроки этапов, передач и челобитных, и читателю предлагается считать вместе с ними.

Часть первая. Никольская улица

Глава 1. Список

Список привезли в Москву в постельном сундуке, под рубашками покойницы, и Пелагея, разгладив первую страницу, почувствовала под пальцами, как у писавшего дрожала рука.

Об этом дне она потом вспоминала с конца — с сундука, с серой тетради, с мокрого лба Федота. А день начался обычно, и в том было его коварство: никогда не знаешь, какое утро последнее.

Утром второго июля лавку Белоусовых на Никольской открыли, как всегда, в седьмом часу. Пелагея сняла ставни, Ермолай вынес на улицу раскладной прилавок с лубками — сочинёнными листами о Еруслане Лазаревиче и о мельнике, который продал душу, — и первым покупателем был дьячок с Покровки, взял два лубка и псалтырь, торговался из привычки, сбил гривенник и ушёл довольный, как с войны. Потом пришла чиновница за «Письмами русского путешественника» — книга у Белоусовых стояла на полке с прошлого года, и отец, когда её спрашивали, всегда говорил одно и то же:

— Карамзина сочинение. Хорошее. Не про нас, правда.

Чиновница взяла. У Белоусовых так и торговали: отец го-

ворил правду о книге, и к нему привыкли.

В полдень заходил переплётчик Гаврила, принёс шесть переплётённых томиков и увёл Василия помогать — в переплётной как раз резали кожу, а Василий любил этот запах и эту работу больше, чем прилавок. Пелагея тем временем сидела в задней комнате над каталогом: она переписывала опись отцовского товара чисто, своим мелким, круглым почерком, в котором каждая буква стояла ровно, как на воскресном школьном плакате. За такую работу лавки и типографии платили ей отдельно от отцовского стола, и эти деньги — медные, небольшие — были её собственными. Отец считал: у дочери книгопродавца должно быть ремесло, потому что у дочери книгопродавца нет приданого.

Мать, покойница Авдотья Прохоровна, грамоте не знала и гордилась дочкиным почерком так, будто тот вышивал золотом. «У тебя рука ладная, — говорила она, разглядывая страницу, которую читать не могла. — По твоим буквам глядеть — что по ровному полю идти». Она умерла три года назад, за одну неделю, от горячки, и Пелагея до сих пор иногда, подписывая опись, ловила себя на том, что выводит буквы чуть красивее — для той, кто смотрел бы и не читал. От матери остались сундук с рубашками, икона Казанской в горнице и привычка считать вслух, когда деньги сходятся плохо. Отец после её смерти стал тише на одну ступень, и ступень эта так и не вернулась.

Около четырёх заглянул коллежский регистратор Опоев-

цев, худой, в мундире, заложенном булавкой на вороте, и постоял у полки с французскими книгами, не трогая их.

— В Петербурге, говорят, книгу одну ищут, — сказал он ни к кому, в полку. — «Путешествие» какое-то. Из Петербурга в Москву. Смешно, а? Словно дороги нашей не знают, вот и описали для забавы.

— Не слыхали, — сказал отец.

— Я и говорю — смешно. — Опоевцев повертел головой. — А спрашивают всерьёз. В Гостином вчера две лавки обыскивали, у Столыпина и у Логгинова. Искали. Не нашли, кажись.

Он ушёл, ничего не купив. Отец проводил его глазами и сказал Ермолаю:

— Если придут спрашивать — мы тиражами не торгуем. Лубок да псалтырь. Понял?

— Чего ж не понять, — сказал Ермолай.

Вечером, когда лавку уже заперли, а на Никольской остались одни фонарщики, постучали в заднюю калитку — три раза и потом ещё два. Сундук притащили вдвоём: носильщик с Сухаревки и сам Федот, худой человек в потёртом немецком сюртуке, который всё оглядывался на улицу. Отец велел ставить сундук в задней комнате, у печи, и долго не прикасался к замку.

— Тётка Матрёна, — сказал Федот носильщику на прощанье, громко, для тех, кто мог слушать за дверью. — Померла весной, вот пожитки. Царство небесное.

Носильщик ушёл. Федот остался. Он снял шляпу, и Пелагея увидела, что лоб у него мокрый, хотя вечер стоял прохладный, а сюда он шёл пешком от самой Тверской заставы.

— Чаю? — спросила Пелагея.

— Некогда мне, Пелагея Тихоновна. — Федот поглядел на отца. — Тихон Савельевич, я вам вещь привёз. Не тёткину.

Отец молчал. Он стоял у печи, высокий, с седой бородой клином, и молчал так, как умел молчать только он, — так, что собеседник начинал говорить снова.

— Я стан брал у одного человека, — сказал Федот. — Наборщиком. Дома у него и печатали, не в типографии — в доме, понимаете, станок в комнате стоял. Книгу печатали. Про тракт, от Петербурга сюда, по станциям. Забавная, говорят, штука вышла, только кому забавно, а кому... — Он сглотнул. — Зотова взяли на той неделе. Книгопродавца, у которого лавка в Гостином. Полиция пришла, опись сделали, его самого — куда надо. А хозяин... хозяин свой тираж жечь стал. При мне жёг. Шестьсот с лишним экземпляров, Тихон Савельевич. В печке горело, листы крутились, чёрные по краям. Горели, и всё.

— А ты что же? — спросил отец.

— А я список взял. Рукописный. Ещё до печати его переписали, мы по списку и набирали. Я его вывез. — Федот показал на сундук подбородком. — Дома держать боюсь. У меня, сами знаете, жена, малые. А вы человек книжный. Вы поймёте, что с ним делать.

Отец открыл замок, поднял крышку. Сверху лежали рубашки, чистые, с лавандой, — видно, жена Федота старалась, складывала аккуратно, будто и впрямь покойницу собирала. Под рубашками нашлась серая тетрадь в полотняном переплёте, толстая, перехваченная бечёвкой.

Пелагея взяла её в руки.

Она не собиралась слушать. Бабка учила: не трогай чужих писем голыми руками, лист помнит, а ты потом неделю чужим страхом будешь болеть. Но тетрадь легла на ладонь сама, привычно, как ложатся все книги, — и Пелагея почувствовала: рука. Писал мужчина, молодой ещё, писал ночами, торопился, боялся, — и под страхом, глубже, лежало другое, твёрдое: он верил тому, что переписывал. Не ради денег. Не ради смеха. Верил — и оттого боялся вдвойне.

Ощущение было не словами и не картинками. Она никогда не могла объяснить и давно перестала пробовать. Просто тетрадь вдруг стала чьей-то, как перчатка, которую долго носили: в ней осталась форма чужой руки. Только перчатка помнит руку, а лист помнит больше: он помнит, что руке было, когда она писала. Не мысли — мыслей лист не держит. А то, что идёт ниже мыслей: страх, вера, усталость, умысел. Температуру писавшего.

Она научилась этому в девять лет, на счетах лавки. Отец удивлялся, откуда девочка знает, какой поставщик хитрит, — а она просто один раз взяла в руки ведомость и почувствовала: писал человек, который считал одно, а писал дру-

гое. Бабка Дарья, услышав про это, долго молчала, а потом сказала матери: «Пошло, значит. У меня было. У тебя миновало — у неё пошло». Мать перекрестилась и велела дочери молчать. С тех пор в семье об этом не говорили — как не говорят о родимом пятне, которое у всех на виду.

— Пелагея, — сказал отец.

Она разжала пальцы. Тетрадь осталась на столе. Страх пившего никуда не делся — он уже сидел в ней, чужой, ночной, и она знала, что сегодня ей приснится печь, в которой горят листы.

— Что за книга? — спросила она.

— «Путешествие из Петербурга в Москву», — сказал Федот. — Без имени печатали. Только все знают, чья. Радищева, коллежского советника. Там про крестьян, Тихон Савельевич. Про то, как их продают, как судят. Про рекрута. Про... — он оглянулся на окно, хотя ставни были закрыты, — про всё, о чём вслух не пишут.

В комнате стало тихо. Василий, вернувшийся от переплётчика и притихший у двери, выдохнул. Ему было шестнадцать, и запретное слово он произнёс про себя, одними губами, как мальчишки пробуют табак.

— Возьми обратно, — сказал отец Федоту. — Или я его в печь. У меня дети.

— Тихон Савельевич...

— У меня дети, — повторил отец. — А у тебя жена и малые. Ты везёшь это через всю Москву и приносишь мне. Ты

не книгу привёз, Федот. Ты привёз петлю.

Федот смотрел на тетрадь. Плечи у него были наборщицкие, сутулые, и Пелагея подумала, что он всю дорогу от Петербурга, шестьсот с лишним вёрст, нёс эту тетрадь под полой, у сердца, как несут грудного ребёнка. Сам он сжечь её не мог. Для того и привёз: чтобы сжёг кто-то другой — или чтобы не сжёг никто.

— Сколько списков осталось? — спросила Пелагея.

— Этот, да ещё, может, пара в Петербурге. Печатные сгорели почти все. К Зотову в лавку попало штук пятьдесят, их полиция и забрала. — Федот усмехнулся одним углом рта. — Книга, которой нет, Пелагея Тихоновна. Все о ней говорят — и нет её.

— Тогда её надо переписать, — сказала Пелагея.

Отец повернулся к ней. Она знала этот поворот — медленный, тяжёлый.

— Пока её нет, её не запретишь дважды. А если будет список со списка, пять списков, десять — её уже не сожжёшь. Не всю.

— Ты слышала? Зотова взяли. Не за продажу даже — за то, что книга в лавке стояла.

— Я слышала. — Она положила ладонь на тетрадь, теперь уже нарочно, и встретила отпечаток спокойно, как встречают знакомую боль. — Отец. Ты меня грамоте учил не для счетов только.

— Я тебя учил не для тюрьмы.

— Не для тюрьмы. Я перепишу. Ночами, в горнице. Почерк изменю, никто не узнает. А отдадим людям, которых ты знаешь двадцать лет.

— Которых я знал двадцать лет, — поправил отец. — Люди меняются, Пелагея. Особенно когда узнают, что за одну тетрадь теперь дают... — Он не договорил, за сколько дают. — Ты помнишь, как Новикову лавки жали? Триста книжек в огонь, и те ни при чём были. А Новиков — он ведь просто печатал. Хорошие книги печатал.

— Помню, — сказала Пелагея. Она помнила: она тогда переписывала счета Типографической компании и видела цифры, которыми кончаются хорошие книги. — Потому и надо успеть, пока ищут печатное. Список — он ничей. У списка нет типографии.

— У списка есть рука, — сказал отец. — А у руки есть почерк.

— Почерк я изменю.

Отец посмотрел на её руки — суетливые, вечно в саже и в чернилах, — и ничего не сказал. Он умел и это: оставить дверь приоткрытой, чтобы вошедший отвечал за вход сам.

Пелагея вошла.

Федот ушёл на рассвете, с обозом на Тверь, не допив чая. Перед уходом он помялся в сених и сказал Пелагее тихо:

— Вы это... ежели что, я вам тетрадь продал. За пять рублей. Как вещь покойной тётки. Поняли? Купля-продажа.

— Поняла, — сказала Пелагея. — Ступай с Богом.

— С Богом-то, — сказал Федот. Он постоял, глядя куда-то сквозь забор. — Там, в книжке, одно место есть. Про то, как мужик пашет, а рядом барское поле, и он на барское ночью выходит, потому что днём своё пашет. Я как набрал это место, так и понял: сгорит не сгорит — а уже напечатано. Во мне напечатано. — Он поднял на неё глаза. — Вы поймёте, когда прочтёте. Все поймёте.

Он ушёл, и больше Пелагея его не видела.

В ту ночь она переписала «Выезд» и «Софию». Писала в горнице, при сальной свече, потому что восковые отец считал по штукам. Чернила были железные, дешёвые, первые строки выходили бледными, пока рука не наловчилась. Почерк она сочинила чужой: мелкий, круглый, с наклоном влево, какого у неё отродясь не бывало, — буквы ложились ровно, но как будто писал человек старше и степеннее. Рука уставала. К петухам заболели пальцы — не от письма, она знала разницу: это в неё садился чужой страх, тот, что остался в тетради. Она переписывала страницу — и страх переписывался в неё.

Бабка Дарья, материна мать, называла это «слушать лист» и велела держать при себе. «Людам знать не надо, что ты слышишь, — говорила бабка. — Люди пишут одно, держат в руке другое, а побьют тебя за третье». Бабка слушала листы всю жизнь и к старости перестала помнить, какие страхи её собственные. Пелагея видела, как она сидит у окна и щупает пальцами воздух, будто лист, которого нет, и звалась при

этом чужими именами.

«Не слушай подряд, — учила бабка. — Один лист — один день. Два листа — неделя чужая. А десять подряд — и сама не вспомнишь, кто ты».

Одно лето, когда Пелагее было четырнадцать, бабка взяла её к ростовщику на Варварку — таскала за рукав по конторам, и в каждой велела: «Тронь ведомость, когда никто не видит. Тронь и молчи». Дома бабка спросила, что где было. Пелагея сказала: в первой — злость, во второй — страх, в третьей — стыд. «Стыд запомни, — сказала бабка. — Злой и боящийся проживут, а тот, кто стыдится, считая чужие долги, — сам в долгах по горло. Это я к тому: лист говорит правду, но правду без адреса. Что ты с ней делать будешь — это уж не лист решает. Это ты».

Бабка умерла зимой, за год до матери, и Пелагея разрешила себе одно: не помнить её последнего месяца. Она помнила её по лету — на лавке у окна, с чужим листом под пальцами, сказавшей: «Стыд запомни».

Пелагея дописала страницу и подула на чернила. За окном по мостовой прошли тяжёлые шаги, стукнуло древко — ночной обход. Она замерла над листом. Шаги прошли мимо, и тогда она поймала себя на том, что прислушивается к улице уже не как к улице, а как к вопросу: к кому идут.

Утром Василий нашёл её за столом, спящей щекой на тетради.

— Сестра, — сказал он с благоговением. — Ты как... сол-

дат перед боем.

— Я как переписчица после ночи, — сказала Пелагея. — Неси углей, самовар ставь. И, Василий. — Она удержала его за рукав. — Ты ничего не видел. Ни сундука, ни тетради. У нас в доме ничего такого нет.

— Я не маленький.

— Тем более.

Василий обиделся, но кивнул. Пелагея смотрела ему вслед и думала, что врут с этого дня все: она — брату, отец — Ермолаю, Федот — целому свету про тётку Матрёну. Книга ещё не вышла из горницы, а ложь уже поселилась в доме, сидела за столом, пила чай.

Ермолай то утро встретил её вопросом, который она запомнила.

— А что в сундуке-то было, Пелагея Тихоновна? Носильщик у моста спрашивал, куда несли. Я сказал — товар. Верно ведь?

— Верно, — сказала Пелагея. — Товар.

Она солгала легко, и лёгкость эта ей самой не понравилась. Ермолай кивнул и пошёл к прилавку, а она посмотрела ему в спину — впервые посмотрела в спину человеку, которого знала двенадцать лет.

Днём, когда в лавке было пусто, Василий подошёл к ней через прилавок и сказал вполголоса:

— Дай почитать.

— Нет.

— Одну главу. Я ночью, в сениях. Никто не...

— Василий. — Она подняла голову от счёта. — Сколько лет Шешковскому?

— Какому Шешковскому?

— Вот именно, — сказала она. — Ты не знаешь, кто такой Шешковский. А он знает, кто такие мы. В этом вся разница, и почитать тебе она не поможет.

Он отошёл, насупленный. Она смотрела, как он ворошит лубки на прилавке, и думала, что запретила ему не потому, что боялась за него, — боялась она, что ему понравится. Шестнадцать лет, запретная книга, отец за печью... Она сама была такой в двенадцать, когда мать прятала от неё зеркало, а она находила его по блику на стене.

К вечеру того же дня отец проверил замки дважды и спросил Ермолая, который час обхода. Ермолай ответил, что обход теперь ходит раньше, к одиннадцати, и что у Логгинова вчера спрашивали, не нанимает ли кто писцов на дом. Отец слушал, кивал, и Пелагея видела: он уже не сердится. Он боится. Это было хуже сердитости — сердитость у отца проходила, а страх он носил молча, как носят грыжу.

Она ловила себя на том, что учится жить в новом доме, который снаружи не изменился. Ставни те же, прилавков тот же, счёты те же. Но теперь каждый стук в калитку имел два значения, каждый покупатель мог оказаться не покупателем, а она сама — она больше не была просто дочерью книгопродавца. Она была человеком, у которого под половицей гор-

ницы лежат шесть будущих тетрадей, из которых каждая — статья.

С почерком она возилась три вечера. Свой она знала до кончиков пальцев: он был у неё материнский, честный, с высокими буквами. Чужой сочиняла как портрет несуществующего человека: круглее, степеннее, с наклоном влево и с длинным, спокойным хвостом у «д» — почерк чиновника, который никуда не торопится и ничего не боится. Она написала им три листа из Карамзина, потом спала, а наутро посмотрела на них чужими глазами, как смотрят на работу подмастерья. Неплохо. Только усталая рука к концу листа забывала роль, и буквы выпрямлялись, вырастали — вспоминали мать.

«Все становятся своими, когда устают», — сказала Дурасова. Пелагея стала учиться писать уставшей. Это было странное учение: доводить себя до третьего часа ночи и только тогда браться за тетрадь, чтобы рука с самого начала была слабой и послушной чужому почерку. Отец, видя это, ничего не сказал, но поставил в горнице вторую свечную пару.

Переписывая, она читала — поневоле, потому что нельзя переписывать не читая. Она ждала страшного, бунтовного, того, за что сажают, — а находила странное: про дорогу, про станции, про ямщика, который поёт похабную песню и плачет над ней сам. Про помещика, который хвалит себя за то, что крестьяне его «богаты». Про рекрута, которого забирают, и мать идёт за селом следом, и её не гонят, потому что

гнать уже бессмысленно. Пелагея ждала призыва, а находила жалобу. Она переписывала жалобу, и рука её отвыкала бояться, потому что жалоба — это не бунт; жалоба — это то, что все говорят за печью.

И только потом, под утро, она поняла, в чём дело. Бунт был не в словах. Бунт был в том, что всё это — мужика пашу, барское поле, рекрута, мать — кто-то записал и напечатал, и вот оно лежит, белое, и его уже нельзя отговорить. За печью сказанное исчезает. Написанное хранит руку.

Она дописала страницу и посмотрела на свои пальцы, чужие от усталости.

«Вот что ты сделал, — подумала она о человеке, чей страх она переписывала. — Ты сделал так, что об этом теперь думает переписчица на Никольской. А дальше? Дальше я думаю об этом вслух? Со сколькими?»

Она не знала. Она знала только, что завтра сядет снова.

Три дня спустя в Москве узнали, что автора «Путешествия» взяли в Петербурге и посадили в крепость.

Глава 2. Вести

Весть пришла в Москву на пятый день, как ходит почта, — и ещё до полудня её уже обмусоливали на всех рядах.

Пелагея стояла за прилавком, когда у соседнего лавочника, Логгинова, собрался кружок. Говорили не громко, но и не шёпотом: весть была такая, что её невозможно ни сказать, ни не сказать.

— Взяли, — сказал Логгинов. — Тридцатого июня, ввечеру. К коменданту сперва, а потом — в крепость. В Петропавловскую.

— За книгу? За одну книгу?

— За книгу, говоришь? — Логгинов огляделся. — Сама прочла и на полях писала. Говорят, писала: «бунтовщик хуже Пугачёва». Слышали? Хуже Пугачёва. За Пугачёвых, поди, вешали.

Кружок подобрался. Кто-то сказал, что автор — граф, чуть не адмирал, при самом дворе бывал. Кто-то сказал, что в книге само царство зовут свергнуть и карта приложена, по которой идти. Мещанин с Ильинки сказал, что слышал: книгу писали французы, а перевёл наш, предатель. Каждый добавлял своё, и Пелагея слушала, как растёт легенда: за одну ночь книга, которую почти никто не читал, стала той книгой, которую все знают.

— А ты чего молчишь, Тихонова? — спросил Логгинов.

— Я книги продаю, — сказала Пелагея. — Мне их читать недосуг.

— Вот и читай меньше, — посоветовал Логгинов и остался доволен своей остротой.

Пелагея перекладывала на прилавке псалтыри и слушала. Руки делали своё дело, а внутри у неё всё считало: тридцатого июня взяли. Федот уехал второго. Тетрадь у неё — с третьего. Два списка она уже переписала.

Опоевцев, вчерашний регистратор, стоял на цыпочках, чтобы видеть над головами, хотя говоривших было двое.

— А я вчера, господа, вчера ещё говорил! — сказал он. — По почерку, слышите, поймали. Типограф свой стан спалил, а его по почерку: дали ему написать, да сличили с корректурой. Наука!

Его никто не слушал. Пелагея слушала.

Домой она вернулась раньше обычного — отец сам велел закрыть лавку до обеда, что случалось два раза в год. Он сидел в задней комнате, и перед ним на столе стояла жаровня.

— Неси, — сказал отец.

Пелагея не двинулась.

— Неси тетради. Все. И ту, и твои.

— Отец...

— Я не спорю, — сказал он. — Я сказал.

Она смотрела на жаровню. Угли были свежие, рыжие, он нарочно раскочегарил их среди лета, в духоте, и от этого жаровня казалась страшнее.

— Вчера, — сказала Пелагея, — я отдала первый список. Дурасовой. Ты знаешь её, вдова у Покровки, у неё по средам читают.

Отец закрыл глаза.

— Ты отдала. Вчера. Когда Зотова уже взяли, а автора уже...

— Я отдала до вестей, — сказала она. — А теперь не отберёшь. И слава Богу.

— Слава Богу? — Он открыл глаза. — Пелагея. Ты семьдесят четвёртый год помнишь?

Она не помнила. В семьдесят четвёртом ей было восемь лет, и в памяти осталось только, что мать запирала ставни днём и что на улицах пахло дымом не от пожаров, а от костров, на которых жгли что-то за городом.

— А я помню, — сказал отец. — Пугачёв к Москве шёл, и в городе говорили: выйдет мужик с топором — и пошла. Пошла резня. Я видел, как на Ваганькове двух помещиков... — Он махнул рукой. — Не буду. Ты знаешь, что я понял тогда? Слово, Пелагея, оно как искра в сене. В книжной лавке оно товар, а в сене — пожар. И тот, кто искру пустил, уже не ведает, что горит.

Он сел обратно на скамью и стал смотреть на жаровню, и Пелагея видела, что он не с ней говорит теперь, а с тем годом.

— Я ведь не всегда книгами торговал. Я мальчишкой при лавке стоял, когда ещё книжник один на всю Никольскую был. Мы тогда считали: напечатано — значит, правда. Пото-

му что нельзя напечатать ложь — станок дорогой, ложь дешёвая. — Он усмехнулся, не развеселившись. — А потом я вырос и понял: станку всё равно. Станок и ложь печатает с тем же старанием. И вот я сорок лет продаю людям бумагу и каждый раз решаю: товар это или искра. Я думал, я научился отличать. А ты мне сейчас говоришь, что не научился.

— Я говорю, что научился, — сказала Пелагея. — Ты Карамзина продаёшь и говоришь: не про нас. А это — про нас. Про то, как мужик пашет ночью. Ты это знаешь без книги. Я знаю без книги. Все знают. И вот вопрос, отец: если все знают — почему нельзя, чтобы было написано?

— А тот, кто сено ворошил двадцать лет, — ведаёт? — спросила Пелагея тихо. — Книга не про пожар, отец. Я её переписываю, я её знаю. Она про то, что мужик пашет ночью, потому что днём пашет барское. Это не искра. Это... счёт.

— Счёт! — Отец встал. — А ты знаешь, как считают за такие счета? Тайная экспедиция. Слыхала такую? Туда не зовут. Туда забирают.

Он замолчал. Пелагея тоже молчала. Жаровня потрескивала, и ей было жаль углей — угли стоили денег, и отец, раскочегаривая их среди лета, заплатил за свой страх звонкой монетой.

— Я не сожгу, — сказала она. — Вот решение моё. Не потому что смелая. Потому что поздно: один список уже читают. Если нас возьмут — возьмут за него, а не за то, что лежит под полом. А если не возьмут... — Она набрала воздуха. —

Если не возьмут, отец, то через год об этой книге будут говорить все, а читать будет нечего. Если я сейчас не напишу.

Отец долго смотрел на неё. Потом взял жаровню и вынес в сени. Вернулся, сел, сказал:

— Шесть тетрадей. Не больше. И чтобы ни одна не лежала в доме дольше ночи.

Она кивнула. Руки у неё дрожали — она поняла это только когда он ушёл и она осталась одна.

Вечером она пошла к Дурасовой.

Дом у Покровки, деревянный, с мезонином, пах воском и сушёной ромашкой. Акулина Саввишна Дурасова, вдова надворного советника, держала у себя «чтения по средам»: приходили чиновницы, две вдовы попов, учитель словесности, иногда — студент с Чистых прудов. Читали вслух, по очереди, дозволенное: журналы, «Письма русского путешественника», переводные романы. В промежутках, когда самовар уносили и дверь в коридор прикрывали, говорили о другом.

Пелагея пришла в конце. Читали про путешествие по Швейцарии; она села у двери и слушала, как учитель словесности выводит иноземные названия. Акулина Саввишна подсела к ней.

— Список получила, — сказала она не спрашивая. — Читала уже половину. — Она покачала головой. — Пелагея Тихоновна. Зачем ты это сделала?

— Почему «зачем», а не «спасибо»?

— Потому что я старая и знаю цены. — Дурасова взяла её руку, повернула ладонью вверх, посмотрела на чернильные мозоли. — Вот этот почерк. Круглый. Я такого в Москве не видела. Ты хоть понимаешь, что почерк — это лицо? Его нельзя надвинуть на глаза, как капор.

— Я изменила почерк.

— Изменила. — Дурасова отпустила её руку. — А ты знаешь, как меняется почерк, когда человек устал? На третьей ночи он становится своим. Все становятся своими, когда устают.

Пелагея не ответила. Учитель словесности дочитал, все зашумели, попросили ещё; кто-то сказал: «Лучше про наше почитайте», — и в наступившей тишине эти слова прозвучали громче, чем хотелось сказавшему.

Чаю пили тихо. Пелагея смотрела на собравшихся и примеривала их к своему делу, как примеривала товар: вдова причта — молчаливая, держит дом и два чина съёмщиков; учитель словесности — бедный, грамотный, читает всё, что достаётся; студент с Чистых прудов — молодой, горячий, такие платят не деньгами, а собой. Все они приходили сюда по средам за тем, чего не было в журналах: за разговором без углядки. Дурасова двигалась между ними с чайником, старая, прямая, и никто не говорил вслух того, зачем пришёл на самом деле, — и это «не вслух» и было содержанием вечеров.

Пелагея думала: вот спрос. Вот он сидит, пьёт чай из коло-

той чашки, жалуется на цены на ситец и ждёт, что кто-нибудь скажет настоящее. Она могла дать им настоящее — шесть тетрадей, по кругу. Цена вопроса была не в деньгах. Цена была в том, что каждый читатель — новая улика, и каждый, кто прочтёт, будет знать, где взял.

Она решила: пусть знают. Пусть каждый, кто возьмёт тетрадь, понимает, что берёт в руки. Честная цена, названная вслух.

— Про наше теперь печатного мало, — сказала Дурасова вставая. — Разве что в списках.

Она посмотрела на Пелагею. И Пелагея поняла: спрос есть уже сейчас. Не уговаривать надо — отговаривать придётся.

Домой она шла по вечерней Никольской, мимо запертых лавок, и думала о шести тетрадях. Шесть — это шесть ночей каждая, значит, месяц с лишним. Один список у Дурасовой. Один — она отдаст отцовскому знакомому, протоиерею на Варварке, который умеет молчать (он исповедовал её мать и не выдал её на той исповеди ничем, хотя мать... впрочем, это была другая тайна). Один — в Тверь, обратному ходу, если найдётся надёжный ящик. Остальные — по городу, из рук в руки.

Она не думала: зачем людям эта книга. Она думала: её нельзя отдать огню, и всё. Была в этом её правота или её гибель — она решила не спрашивать.

Была и счётная сторона, и она вела её так же честно, как вела лавочные книги. Бумага хорошая — почти даром,

остатки отцовских запасов; чернила железные — дешёвые; перья — из гусиных, обточка занимала час в неделю. Вре-
мя было дороже всего: шесть тетрадей — это сорок ночей,
а днём надо было стоять за прилавком, переписывать зака-
зы для типографии и не выглядеть невыспавшейся. Она при-
кинула: сорок ночей до середины августа. Если за сорок но-
чей её не возьмут — она успеет. Если возьмут раньше — не
успеет никто, и тетради будут ждать под половицей.

Половицу в горнице она выбрала сама: третью от кровати,
скрипучую. Скрипучесть была полезна — никто не подни-
мет её ночью бесшумно. Она выложила под неё промаслен-
ную тряпицу, завернула в неё тетрадь Федота и первый свой
список и положила сверху нож для бумаги: если половицу
поднимут чужие, нож упадёт, и она проснётся успеть поду-
мать, что сказать.

Что сказать — она не знала. Но это было уже из другого
счёта.

Назавтра она отнесла второй список отцу Варлааму на
Варварку.

Протоиерей встретил её в ограде, с лопатой — он копал
грядку под окнами и рукава у него были засучены, как у
дворника. Он исповедовал её мать и двадцать лет ходил к
Белоусовым пить чай; когда мать умерла, он отпевал её и ни
одним словом не обмолвился о том, что знал от неё на испо-
ведях. Пелагея помнила это молчание лучше многих слов.

— Вот, — сказала она и протянула тетрадь в холщовом

переплётёте.

— Что это?

— Книга. Которую жгут.

Он вытер руки о подол рясы, взял тетрадь, подержал — не открыл.

— Ты меня спросить забыла, дочь Тихона.

— Спросить — это поделить вину. Я решила не делить.

— Делить вину со мной не надо, — сказал он. — Я её сам возьму, если возьму. Но скажи мне одно: ты читала?

— Переписывала. Это больше, чем читала.

— И что там?

— Правда, батюшка. Скучноватая местами, длинная местами. Но правда.

Он посмотрел на неё внимательно. У него были светлые глаза и брови совсем седые.

— Вот за это и жгут, — сказал он. — За «скучноватую» не жгут. — Он поднял тетрадь. — Спрячу у себя. Читать буду по ночам, как ты пишешь. Иди домой, Пелагея. И вот что: ко мне больше не ходи. Если спросят, я скажу — приносила псалтырь на переплёт. Псалтырь у меня ведь и правда рассыпается.

Она пошла домой через Ильинку, мимо Гостиного двора. В рядах было шумно, торговали сеном, дёгтем, чем-то живым в корзинах, и никто не говорил о книге — на виду о ней не говорили. Но у книжных рядов, где пустовало уже два прилавка, стояли двое в сермягах и смотрели на замки, и

мужик в армяке спросил у соседа что-то, и тот ответил: «За словом, брат, теперь в крепость. За словом».

Ночью она писала. Отец, проходя мимо горницы к своей постели, остановился на пороге. Она ждала, что он скажет, — он ничего не сказал. Постоял, ушёл и вернулся с восковой свечой, которых считал по штукам. Поставил рядом с сальной.

— Восковая ровнее, — сказал он. — Рука меньше устаёт.

И ушёл спать. Это было его благословение — всё, на что он мог решиться, и Пелагея приняла его, как принимают аванс.

Спала она теперь мало и плохо. Чужой страх, переписанный с тетради, жил в ней третью неделю: снилась печь, и в ней листы крутились чёрными по краям, и она во сне протягивала руку в огонь, чтобы вытащить хотя бы один, — и просыпалась с онемевшими пальцами. Первое время она боялась онемения, потом научилась: раздражать пальцы горячей водой, работать счётами, шить. К утру рука оживала. Бабка говорила: руки — это плата, плати и не торгуйся.

Но было другое, о чём бабка не сказала, — может, не умела сказать. Чужая вера тоже переписывалась. Пелагея переписывала страницу про крестьянина, который «в поте лица» пашет чужое поле, и вдруг ловила себя на том, что плачет, — не своими слезами, чужими, переписанными, и это было страннее и страшнее любого онемения: она больше не могла отделить, где кончается чужая рука и начинается её соб-

ственная. «Истираешься, — говорила бабка. — Как тряпка об чернила. Чужое вымывает своё».

А наутро Ермолай, открывая лавку, сказал ей как бы между делом:

— У Логинова вчера опять были. Спрашивали, знает ли он, кто в городе писцы вольные, на дом берут заказы. Логгинов сказал — не знает. — Ермолай помолчал. — Он не знает, Пелагея Тихоновна. А ведь мог бы знать, если б спросил меня. Понимаете?

Пелагея поняла. Ермолай ей сказал: я знаю — и я не сказал. Пока не сказал.

Она смотрела, как он выносит прилавок с лубками, и впервые думала не о том, что будет, если придут за списками. Она думала: что будет, если придут за почерком.

Глава 3. Обыск

Третий день по лавкам ходили с описями, и Белоусовы ждали своей очереди, как ждут зубного врача, — зная, что не минует, и всё же не веря до самой двери.

Пелагея ждала третий день. Она успела сделать всё, что могла: пять тетрадей лежали вне дома — у Дурасовой, у отца Варлаама, у тверского обозника, у двух читателей, которых знал только отец. Шестая, недописанная, лежала под половицей в горнице, и Пелагея велела себе: если возьмут — не дышать, не смотреть на пол, думать о прилавке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.